МИХАИЛ СУВОРОВ



ТАНЕЦ МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ

ТЕНЬ МАТЫ ХАРИ

КНИГА ПЕРВАЯ

Михаил Суворов

ТАНЕЦ МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ
Книга первая. Тень Маты Хари

«Автор»
2026

Суворов М. В.

ТАНЕЦ МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ Книга первая. Тень Маты Хари / М. В. Суворов — «Автор», 2026

1917 год. Париж. Танцовщицу, известную всему городу как Мата Хари, арестовывают на рассвете. Среди её вещей жандармы находят предметы, которых ещё не существует в этом мире.Сто лет спустя в Нидерландах десятилетняя Маргарета видит тот же сон: выбитая дверь, синий свет чужого экрана и женщина с тяжёлыми веками. В её семье есть странная особенность — они помнят то, чего ещё не было, и то, что уже забыли все остальные.Когда в XXI веке Маргарета приезжает в Париж, чтобы танцевать, прошлое и будущее начинают сходиться. Золотые серьги, которые никогда не остывают. Голос, говорящий «ты моя искра». И человек, который исчез из её жизни, но продолжает существовать в чужом времени.«Танец между временами» — история о цене памяти, о любви, способной пройти сквозь десятилетия, и о том, можно ли изменить судьбу, если ты сам — её часть.

© Суворов М. В., 2026
© Автор, 2026

ТАНЕЦ МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ
Книга первая. Тень Маты Хари

МИХАИЛ СУВОРОВ

ТАНЕЦ МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ
Книга первая
Тень Маты Хари

Роман

2025

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Суворов М.
Танец между временами. Книга первая. Тень Маты Хари : роман / Михаил Суворов. — 2025.
ISBN 978-5-00000-000-0
© Михаил Суворов, 2025
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.

Посвящение
Бабушке Анне,
которая первой сказала:
«Ты помнишь вместе с теми,
кто был до тебя».

Эпиграф
«Время не ручей, а озеро.
Всё в нём есть одновременно,
а мы просто плывём по поверхности
и видим кусочки.»
— из разговора с бабушкой Анной

Аннотация

1917 год. Париж. Танцовщицу, известную всему городу как Мата Хари, арестовывают на рассвете. Среди её вещей жандармы находят предметы, которых ещё не существует в этом мире.

Сто лет спустя в Нидерландах десятилетняя Маргарета видит тот же сон: выбитая дверь, синий свет чужого экрана и женщина с тяжёлыми веками. В её семье есть странная особенность — они помнят то, чего ещё не было, и то, что уже забыли все остальные.

Когда в XXI веке Маргарета приезжает в Париж, чтобы танцевать, прошлое и будущее начинают сходиться. Золотые серьги, которые никогда не остывают. Голос, говорящий «ты моя искра». И человек, который исчез из её жизни, но продолжает существовать в чужом времени.

«Танец между временами» — история о цене памяти, о любви, способной пройти сквозь десятилетия, и о том, можно ли изменить судьбу, если ты сам — её часть.

Оглавление

Глава 1. Арест 11
Глава 2. Эхо прошлого 19
Глава 3. Ритмы нового Парижа 41
Глава 4. Звезда, которая смеётся 67
Глава 5. Тёплое золото 103
Глава 6. Тишина 131
Глава 7. Перекрёсток 149
Глава 8. Двадцать второе октября 167
Глава 9. Этуаль Нуар 185
Глава 10. Искра 203
Глава 11. Золотая клетка 221
Глава 12. Ипр 239
Глава 13. Исповедь 257
Глава 14. Тень Вейса 275
Глава 15. Допросы 293
Глава 16. Суд 311
Глава 17. Отец 339
Глава 18. Пять дней 361
Глава 19. Золото и навоз 389

Глава 1. Арест

Август 1917 года. Париж.

Холод вырвал её из сна.

Дверь вылетела с петель. Дерево треснуло, как выстрел. В комнату хлынул сырой воздух, пахнущий углём и конским навозом.

Она не успела вдохнуть. Во рту стало сухо, будто туда насыпали песку. В ушах зазвенело, и крики мужчин доходили до неё с опозданием, как гром после молнии.

Их было трое. Один держал лампу, и свет прыгал по его лицу. Второй был совсем молод, с дрожащими руками. Третий был тяжёлый, с глазами человека, который слишком долго смотрел в грязь.

Тяжёлый схватил её за волосы. Кожа на голове натянулась и лопнула болью. Он рванул, простыня осталась в его кулаке, а сорочка поехала вместе с ней.

Батист, застёгнутый под горло, порвался с сухим треском, как старая бумага. Ткань съехала с левого плеча и повисла, и грудь вывалилась в жёлтый свет лампы.

Она прижала к ней локоть. Другая рука сама поползла к уху.

Молодой отвёл глаза. Быстро, как мальчишка, которого застали у чужой двери.

Тяжёлый заметил. Брезгливо усмехнулся, и в усмешке не было ничего мужского.

— Что, сисек не видел?

— Видел, — выпалил молодой. — На картинках.

Он понял, что сказал, и покраснел до ушей.

— То есть… это же Мата Хари. С ней нельзя так, как с уличной.

— С уличной честнее, — сказал тяжёлый. — Та торгует собой. А эта нами торговала.

Они говорили над ней, как над вещью, которую надо отнести в нужную коробку. Она стояла на коленях, и доски обжигали кожу холодом. Мочки тянули вниз два золотых пятнышка,

единственное ценное, что на ней было. Она ухватилась за эту мысль, как за перила: серьги на месте.

— Я танцовщица, — сказала она. — Я не шпионка.

Кулак вошёл ей в живот. Комната качнулась.

Она смотрела на них снизу и вдруг узнала взгляд. Так на неё смотрели из партера «Олимпии». Те же глаза, тот же голод. Только раньше это называли восторгом.

Молодой полез под кровать. Вытащил папку, потом ещё что-то и замер. Кто-то сказал совсем тихо:

— Это ещё что?

Чёрный прямоугольник лежал у него на ладони. Стекло вспыхнуло синим, чужим светом, по нему побежали значки. На полу рядом мигали часы без стрелок, на них прыгали цифры.

Молодой выронил находку. Тяжёлый сплюнул через плечо.

— Дьявольщина.

Потом сказал, не ей, а в сторону, будто себе:

— Осторожнее с ящиками. У брата был такой же. Он из него писал письма. До Вердена.

Молодой, всё ещё белый, достал из кармана огрызок карандаша и записную книжку. Руки дрожали, но он аккуратно пронумеровал страницу.

Предмет первый. Предмет второй.

Вот это ударило по-настоящему. Не кулак. То, что кто-то в этой комнате уже вёл протокол.

Её подняли и накинули на плечи чужую шинель. Это не было жалостью, а лишь желанием, чтобы к толпе она вышла одетой. Босые ступни скользили по мокрым доскам. Где-то в глубине головы, под звоном и болью, ей слышался голос. Хриплый, спокойный. Пахло табаком и мокрой шинелью. По мостовой стучал костыль, ровно, в такт сердцу. «Ты моя искра», говорил голос. Лица она вспомнить не могла. Только костыль. Только этот стук.

На улице её ждала толпа.

Плевок попал в щёку. Камень ударил в плечо. Чья-то рука бросила ей в грудь газетный лист, и она успела прочесть заголовок, а потом увидела, что это её собственное имя.

Её втолкнули в карету. Трое сели напротив и замолчали. Тишина была не торжествующей, а усталой, как после грязной работы.

Она сидела, сжав колени. Левая рука незаметно поднялась к уху.

Потом дверь участка, каменные стены, стул. Вошёл седой человек в чёрном, крутя в пальцах золотые часы. Он бросил жандармам одно слово:

— Довольно.

Те отступили.

На столе экран снова мигнул синим. Она увидела два лица. Одно было её собственное, без синяков, молодое, смеющееся. Рядом смеялось другое, рыжее, с карандашом в волосах, и у неё остановилось сердце. За ними стояли каменные ворота и дома из стекла, которых в этом мире ещё не существовало.

Седой следователь придвинул к ней лампу.

— Что это за вещи? — спросил он. Голос его дрогнул так, словно он знал ответ и боялся его услышать.

Глава 2. Эхо прошлого

Ноябрь 1999 года. Нидерланды.

Вечер первый

Холод вырвал её из сна, и она села на кровати раньше, чем проснулась.

Сердце колотилось в горле. Во рту было сухо, как после бега. Она ещё чувствовала, как чья-то рука тянет её за волосы, и держалась за собственную косичку, чтобы убедиться, что та на месте.

Комната была её. Лампа с бахромчатым абажуром светила жёлтым. Кружка с мельницей стояла на столике. Платяной шкаф пах лавандой, а из гостиной доносилось тиканье часов с кукушкой.

Рядом на краю кровати сидела бабушка Анна.

— Плохой сон, солнышко?

Маргарете было десять. Она знала, что взрослые спрашивают «плохой сон?» и ждут ответа «да, но уже прошёл». Она не ответила.

— Там была дверь, — сказала она. — Она упала. И чёрное стекло. Оно светилось само, без свечки.

Бабушка перестала гладить её по голове.

Рука у неё была тёплая, с вздутыми венами и жёсткой кожей на пальцах. Бабушка семьдесят лет вязала, мыла посуду и вытаскивала занозы из чужих ладоней. Теперь эта рука замерла на одеяле.

— Как оно светилось? — спросила она очень ровно.

— Синим. Как газовая конфорка. Только плоское. И там была картинка, но я не поняла какая.

Бабушка посмотрела в окно. За стеклом шёл голландский ноябрь: косой дождь, мокрый велосипед у забора, кусок серого неба.

— Ты теперь читаешь про Мату Хари, — сказала она наконец. — Вот и снится.

Это было правдой. Три недели назад Маргарета принесла из школьной библиотеки тонкую книжку в зелёной обложке «Мата Хари. Танцовщица и шпионка». Она читала её под одеялом с фонариком. На фотографии в середине была женщина с чёрными волосами и тяжёлыми веками, в шапочке с жемчугом. Маргарета разглядывала её полчаса.

А на второй странице прочла: «Родилась 7 августа 1876 года в Леувардене».

Седьмого августа.

Она подбежала к маме, показала пальцем, и мама, не отрываясь от кастрюли, сказала: «Ну надо же, совпало». Больше об этом никто не говорил.

— Но ты ведь не из-за книжки, — сказала бабушка тихо, будто самой себе. — Ты не из-за книжки.

— Что?

— Ничего. Спи.

Маргарета не легла. Она вцепилась в рукав бабушкиной кофты.

— Баб, расскажи что-нибудь. Про войну. Про прадеда.

Бабушка вздохнула, и в этом вздохе было много лет.

— Завтра суббота, — сказала она. — Мама с папой уедут в город до вечера. Приходи ко мне. Заварим чай, и я расскажу. Но слушай внимательно, я два раза не повторяю.

Она поцеловала внучку в лоб. Кожа у неё пахла мятой и мылом.

Кукушка в гостиной прокуковала три раза. Маргарета слушала её до рассвета.

Суббота

Дом бабушки стоял на краю деревни, у канала. Окна выходили на воду, а на подоконнике в трёх горшках росла герань, которая зимой всё равно цвела. На кухне пахло кофе с цикорием и горелым сахаром: бабушка делала карамель для вафель. В коридоре висели часы, которые отставали на четыре минуты. Бабушка говорила, что так и надо: пусть время знает, что его не торопят.

Родители уехали утром. «Городские скептики», как их ласково звала бабушка. Папа считал её сказки милыми причудами, а мама ограничивалась вежливой улыбкой.

В этом доме время шло по-другому.

Бабушка поставила на стол чайник, две кружки и тарелку с вафлями. Потом достала из комода шкатулку, жестяную, с лошадью на крышке.

— Смотри.

В шкатулке лежало пять писем. Бумага пожелтела, чернила выцвели до цвета ржавчины. Почерк был мелкий, угловатый, слова наползали друг на друга: человек писал на коленях, в темноте.

— Это его. Моего отца. Рене Зелле.

Маргарета осторожно взяла верхнее письмо. Оно было мягким, как тряпица.

— Он написал это в семнадцатом году, — сказала бабушка. — Ему тогда было семнадцать.

— Ты говорила, ему было шестнадцать, когда он ушёл.

— Шестнадцать, когда ушёл. Он прибавил себе два года. Сказал вербовщику, что ему восемнадцать, а у вербовщика было двадцать таких в день. Никто не проверял.

— Почему он ушёл?

Бабушка не ответила сразу. Она налила чай, подвинула Маргарете кружку и села, положив ладони на колени.

— Потому что у него было то, что есть у нас в роду. Про это я тебе и расскажу, только не сегодня. Сегодня про войну.

Она заговорила медленно, подбирая слова.

— Он вырос на ферме, понимаешь? Коровы, сено, сырость. Он никогда не видел города больше Харлема. А потом вдруг эти газеты, эти плакаты. «Родина зовёт». Он их видел по-другому. Говорил мне: «Анна, я смотрел на плакат и видел, чем это кончится. Не слова на нём, а дым над ним».

— Дым?

— Дым. Над полями, над домами. Он видел заранее. Так, как другие видят погоду по облакам.

Маргарета держала кружку двумя руками.

— И он поехал туда, чтобы это остановить?

— Он был шестнадцатилетний мальчишка, солнышко. Что он мог остановить? Он думал, что нужно быть там. Что если смотреть своими глазами, то это зачем-то нужно. Глупо, правда?

— Нет, — сказала Маргарета, и бабушка подняла глаза.

За окном прошла баржа, медленно, как корова по лугу. Вода колыхнулась в окне и снова застыла.

— Первое письмо пришло через два месяца, — сказала бабушка. — Мне показывала его моя мать. «Дорогая мама. Здесь очень грязно. Я не знал, что бывает столько грязи». Дальше всё про еду. Потом про вшей. Потом про то, что у соседа по окопу отморожены ноги. Он писал: «Не бойся за меня. Я здесь с хорошими людьми». И ни слова про то, что видит.

Она замолчала, перебирая пальцами край скатерти.

— А потом он начал писать про тишину.

— Про тишину?

— Он говорил, что самое страшное не взрывы. Самое страшное тишина после. Когда ты лежишь и слушаешь, начнётся ли снова. И что он знал, когда начнётся. За секунды до первого свиста у него холодели руки, а потом слышался свист.

Маргарета почувствовала, как у неё самой холодеют ладони.

— Он говорил товарищам?

— Говорил. Они смеялись. Называли его «пророк». А потом перестали смеяться.

Бабушка допила чай и посмотрела на часы.

— На сегодня хватит. Иначе у тебя будут сниться окопы.

— Мне и так снятся, — сказала Маргарета.

Бабушка посмотрела на неё долго, не мигая. Потом встала, накрыла шкатулку крышкой и прижала её ладонью, как прижимают что-то живое.

— Приходи в следующую субботу, — сказала она.

Колыбельная

Уже у порога Маргарета вдруг сказала:

— А ты поёшь ту песню? Про мельницу?

— Какую?

— Ту, что ты поёшь, когда думаешь, что никто не слышит.

Бабушка поправила шаль на плечах. Подумала.

— Это не моя. Это отца. Он пел её, когда у него было плохо. Говорил, что выучил в лагере.

— В каком лагере?

— Потом, солнышко. Потом.

Она негромко запела, не открывая рта по-настоящему, больше на выдохе, чем голосом. Мелодия была простая, покачивающаяся, как лодка у причала. Слов Маргарета не поняла, кроме одного: molen. Мельница.

Она запомнила мотив с первого раза. Запомнила так, как запоминают то, что потом пригодится: без усилия, всем телом.

Между вечерами

В понедельник в школе была контрольная по арифметике, во вторник физкультура, а в среду Йост уронил ей на ногу учебник по географии и сказал, что нечаянно.

Маргарета пыталась думать о другом. Она ела булочку с сыром, вытирала доску и объясняла Эльзе, почему дробь не делится на ноль. Но слова бабушки сидели в ней, как заноза под ногтем.

Он знал, когда начнётся.

В четверг на уроке рисования учительница велела нарисовать «самый любимый день». Все рисовали каникулы, море, торты. Маргарета нарисовала окно с дождём и женщину, которая стоит за ним спиной. Учительница повертела лист и спросила:

— Это кто?

— Не знаю.

— Тогда почему она здесь?

— Не знаю, — повторила Маргарета. — Просто она всё время там стоит.

Учительница поджала губы и поставила «хорошо», хотя явно хотела поставить что-то другое.

Вечером за ужином папа читал газету, а мама рассказывала про соседку, которая купила новую стиральную машину. Маргарета слушала, водя вилкой по тарелке.

— Мам, — сказала она, — а бабушка правда видит то, чего нет?

Мама чуть замешкалась с картошкой.

— Бабушка Анна любит красивые истории. Это не значит, что она врёт. Просто так у неё в голове всё устроено.

— А если не истории?

Папа поднял глаза поверх газеты. Он был добрый человек и не умел сердиться.

— Знаешь, что я думаю? — сказал он. — Что человек, который много пережил, начинает слышать в мире больше, чем там есть. Это не вредно. Только не принимай всё всерьёз.

Маргарета кивнула и больше не спрашивала.

Ночью она долго лежала с открытыми глазами. В комнате было тихо, но тишина была не пустой. Она казалась ей чьим-то выжиданием.

Она подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Десять лет, косичка, веснушки на носу. Больше ничего. Но на миг, одно сердцебиение, ей показалось, что отражение смотрит на неё не изнутри стекла, а из какой-то другой комнаты. Взрослое. Усталое. С чёрными волосами.

Она моргнула, и всё исчезло.

Это книжка, сказала она себе. Просто книжка.

Но ей десять лет, и она уже умела отличать, когда себя уговаривают.

Вечер второй

— Плен, — сказала бабушка в следующую субботу. — Сегодня про плен.

Она не стала заваривать чай. Налила воду из-под крана в два стакана и села, прямая, как свеча.

— Его взяли в октябре шестнадцатого. Было ранение. Сюда, в бок.

Она провела рукой по собственной талии, чуть выше пояса, и Маргарета передёрнула плечами.

— Его не бросили умирать. Немцы тоже подбирали раненых, если могли. Но там, где держали пленных, воды не было и хлеба тоже. Рана загноилась. Отец говорил, что в какой-то день он перестал чувствовать холод и подумал: «Хорошо. Значит, скоро».

— А потом?

— А потом появился Франциск.

Бабушка произнесла это имя так, как называют святого.

— Француз. Младший офицер. Постарше отца, лет под тридцать. Он тоже сидел в этом лагере. И у него была рука…

Она осеклась, мотнула головой.

— Нет. Тогда рука ещё была. Это я потом. Не сбивай меня.

Маргарета не сбивала. Она сидела не дыша.

— У Франциска каким-то чудом остался ящик с лекарствами. Он вынес его с поля боя и не отдал немцам, спрятал. И когда увидел моего отца, мальчишку, который шептал что-то на нашем языке в бреду, он подошёл и сказал по-голландски: «Держись, парень». Мой отец потом говорил, что не знал, голландский это или бред.

— И он его вылечил?

— Выходил. Меняя повязки, отдавая свой хлеб, воруя воду у охраны. Он это делал не потому, что мальчик был чем-то ему нужен. Он просто не мог пройти мимо. Он такой был.

Бабушка допила воду.

— Они стали как братья. А потом ночью, в туман, ушли. Через болота, потом по фермам. Неделю. Отец рассказывал, что Франциск тащил его на себе последние километры, хотя сам еле держался.

— Они добрались?

— До своих. Да. Отец вернулся домой.

— А Франциск?

Бабушка посмотрела на лошадь на крышке жестяной шкатулки.

— Отец писал ему. Много лет. Писал во Францию, на адрес, который запомнил. Ответа не было никогда.

— Может, письма не доходили?

— Может.

— Или он…

— Не знаю, солнышко.

Голос у неё сделался сухим, как осенний лист.

— Отец до конца жизни говорил: «Если бы не он, меня бы не было. И тебя бы не было. И её». Он показывал на тебя. Тебя тогда ещё не было на свете, понимаешь? Он умер в семьдесят первом. Но он показывал на тебя.

Маргарета почувствовала, как по затылку у неё пробежал холод. Тот самый, как перед грозой.

— Он не мог знать про меня.

— Он знал всё про всех, — сказала бабушка. — Это было его проклятием.

Вечер третий

На третью субботу пошёл снег. Не снег, а так, мокрая крупа, которая тает на стекле и оставляет дорожки. Канал почернел, герань на подоконнике казалась ярче обычного.

Бабушка достала из шкафа плед, закутала Маргарету и села рядом, плечом к плечу.

— Сегодня я скажу тебе то, что не говорила никому. Ни твоей матери, ни тем более твоему отцу. Они не поверят. И правильно сделают, так спокойнее живётся.

— А мне можно?

— Тебе нужно. Потому что ты уже начала.

Она взяла Маргарету за руку.

— В нашей семье есть особенность. Не болезнь, не дар. Мы помним. То, что другие забывают. Иногда то, чего ещё не было.

— Как прадед?

— Как прадед. Как я, понемногу. И как ты.

— Я ничего не помню, — сказала Маргарета, и голос у неё сорвался.

— А сон?

Маргарета молчала. Дождь стучал по стеклу, как кто-то, кому нечего делать.

— Баб, а если это правда был не сон?

Бабушка не стала утешать. Она сказала:

— Тогда это было что-то, что ты должна будешь однажды прожить. Или уже прожила. Я не знаю, как это устроено, солнышко. Отец тоже не знал. Он говорил: время не ручей, а озеро. Всё в нём есть одновременно, а мы просто плывём по поверхности и видим кусочки.

Она сжала пальцы.

— Самое тяжёлое не в том, что ты знаешь. А в том, что ты не можешь это никому объяснить. Он видел будущее, но не мог его изменить. Или не умел. Я до сих пор не понимаю.

Маргарета вдруг расплакалась. Тихо, без звука. Слёзы катились по щекам и падали на плед тёмными точками.

Бабушка не сказала «не плачь». Она подтянула её к себе, и они долго сидели так, пока в коридоре не пробили часы, как всегда с опозданием на четыре минуты.

— Я боюсь, — прошептала Маргарета.

— Знаю.

— Что мне делать?

— Расти, — сказала бабушка. — Учись. Люби. Не делай вид, что ничего нет. Но и не ищи. Оно само придёт, когда время придёт.

Она поцеловала внучку в макушку.

— И когда придёт, помни одно. Что бы ни случилось, ты не одна. Ты помнишь вместе с теми, кто был до тебя.

Они допили остывший чай. Бабушка проводила её до порога и долго стояла в дверях, пока Маргарета шла по дорожке вдоль канала. Снег летел косо. Далеко на мосту звякнул велосипедный звонок.

Дома Маргарета легла в постель и лежала без сна.

Она думала про Франциска, которого никогда не видела. Про прадеда, которого не знала. Про женщину с жемчугом в волосах, которая родилась в тот же день, что и она.

А потом уснула, и ей ничего не приснилось.

Через двадцать два года она вспомнит этот вечер и поймёт, что бабушка говорила не про прошлое.

Глава 3. Ритмы нового Парижа

Август 2011

Паркет в пустой студии скрипел под каждым шагом, и эхо возвращалось с опозданием, как в бабушкином коридоре.

Маргарета стояла посреди комнаты с рюкзаком на плече. Ей было двадцать два. Окно выходило на Монмартр, внизу ругались двое торговцев, пахло свежей выпечкой и чьей-то подгоревшей яичницей. Студию она сняла на три месяца у сухой мадам с накрашенными губами, которая пересчитала залог дважды и ни разу не подняла глаз.

Она приехала не просто так. Амстердам стал тесным, как школьная форма. Ей нужны были зеркала на всю стену, жёсткий пол и люди, которые танцуют так, будто от этого зависит ужин. Современный балет, контемпорари, хип-хоп, всё, что заставляло тело думать быстрее головы.

И ещё ей нужно было, чтобы не снилось.

Она повторяла это как таблицу умножения: я Маргарета. Я танцовщица из Амстердама. Не шпионка и не призрак. Просто танцовщица. Сон с выбитой дверью не приходил уже полгода. Это был хороший полугодовой стаж.

Первые недели слились в одну длинную смену. Утром кастинги: коридоры, пахнущие канифолью и чужим потом, номера на булавках, жюри, которое смотрело на тебя секунд сорок и говорило «мерси». Днём класс, до дрожи в икрах. Вечером кафе на улице Лепик, где она носила подносы и считала чаевые монетами. Париж не принимал её и не отталкивал. Он позволял ей существовать рядом, как кошке на подоконнике.

На третьей неделе она провалила кастинг, к которому готовилась месяц. Хореограф, рослая женщина с седым ёжиком, остановила музыку на двенадцатом такте и сказала: «Вы танцуете правильно. Правильно это не то же самое, что живо». Маргарета вышла на лестницу, села на ступеньки и просидела там час. Вечером позвонила бабушка Анна.

— Ну как Париж?

— Большой.

— Это не ответ.

— Он меня не замечает, ба.

— Он и не должен. Ты должна замечать его. — В трубке зашуршала шаль. — Помнишь, что я говорила про озеро? Время общее, а плыть надо самой.

Маргарета рассмеялась и вытерла нос рукавом. Назавтра она пришла в класс на сорок минут раньше всех.

В сентябре ей предложили место в маленькой студии контемпорари. Два вечера в неделю, смешные деньги. Она согласилась, не торгуясь.

Вернисаж

В Латинском квартале проходил вернисаж. Приглашение ей сунул знакомый танцор, Паскаль, вместе с бумажным стаканом тёплого вина.

— Там бесплатно кормят, — сказал он. — И там красиво.

Кормили сыром на кубиках и оливками. Красиво тоже было: галерея размером с трамвайный вагон, белые стены, шумная публика в чёрном. Маргарета протиснулась вдоль стены и остановилась.

Картина висела в самом углу, слишком близко к огнетушителю. Масло, широкий мастихин. Красный и чёрный бились в центре холста, как два пса. Это не было похоже на танец. Это было похоже на то, как человек пробует встать после удара.

— Потрясающе, — сказала она вслух. — Будто движется.

Рядом, прямо под лампой, стояла девушка. Невысокая, ей едва доходило до плеча. Волосы цвета осенних листьев были небрежно схвачены карандашом. Глаза зелёные, неожиданно светлые на бледном лице. Рукав свитера выпачкан синим.

— Спасибо, — сказала девушка. — Я просто… слушаю ритм.

— А картины слушают?

— Эта слушает. Остальные скорее кричат.

Она улыбнулась, но улыбка была кривая, настороженная, как у человека, которого часто хвалили не за то.

Рядом возник мужчина в вельветовом пиджаке и с бокалом. Он покачивался на каблуках, как человек, привыкший к тому, что его слушают.

— Мадемуазель Дюваль, — произнёс он, — это очень… сильно. Но, откровенно говоря, чуть много боли. Покупатель хочет красоты. Может, смягчить красный? Сделать воздушнее?

Агата повернулась к нему не сразу.

— Вы хотите, чтобы это было красиво.

— Я хочу, чтобы это висело на стенах. Это же искусство, не крик.

— Искусство, которое не причиняет боли, врёт, — сказала Агата. Голос у неё был негромкий и очень ровный. — Оно может быть уютным. Может быть дорогим. Но врёт. Вы повесите это над диваном, и через неделю его перестанут видеть. А боль вы видите каждый раз, потому что она на вас смотрит.

Мужчина поднял бокал, будто защищаясь им.

— Вы очень категоричны.

— Я очень точна.

Он отошёл. Агата выдохнула, и вся прямая, колючая спина осела на полсантиметра. Маргарета поняла, что только что видела человека, который бьётся за свою идею, потому что больше ему биться не за что.

— Вы его уничтожили, — сказала она.

— Он купит кого-нибудь попроще. Ему не нужны мои мазки, ему нужна мебель.

Они помолчали. Из соседней группы кто-то захохотал, звякнули бокалы.

— Я Маргарета.

— Агата. Агата Дюваль.

— Откуда ты?

— Из Орлеана.

— Это же рядом.

— Сто километров. По ощущениям, другая планета.

Они проговорили до закрытия. Агата рассказывала, что рисует с пяти лет, что в Париж ушла, потому что в Орлеане её картины называли «мрачными подростковыми штучками». Маргарета рассказывала, что танцует до судорог и ничего не умеет готовить. Агата сказала, что она тоже. Это было первое, что их связало, и оно оказалось неожиданно прочным.

На прощание Агата достала из кармана огрызок угля и нарисовала на салфетке быструю линию: изгиб спины, поднятая рука, вывернутое запястье.

— Это ты, — сказала она. — Когда стояла у картины. Держи.

Маргарета долго рассматривала салфетку на лестнице. Потом осторожно сложила её вчетверо и положила в карман джинсов. Туда, где лежали ключи.

Квартира с видом на крыши

Через две недели они вместе искали жильё. Вернее, искала Маргарета, а Агата ходила следом и комментировала.

Первая квартира принадлежала старику, который показывал «вид на Эйфелеву башню». Башню можно было увидеть, если встать на унитаз и высунуться в форточку.

— Прекрасно, — сказала Агата. — Мы будем платить за право писать в Эйфелеву башню.

— Двести евро в месяц за унитаз с видом, — подтвердила Маргарета.

Старик обиженно вздохнул и сказал, что молодёжь не ценит искусство.

Вторая квартира пахла кошкой, третья сыростью, четвёртая чужой жизнью. Пятую нашли случайно, на последнем этаже старого дома, в двух кварталах от кафе, где Маргарета подрабатывала. Лестница скрипела, лифта не было, хозяйка с первого этажа оказалась румяной вдовой, которая сразу сказала: «Девочки, у меня одно условие: не заливайте соседей».

Квартира была крошечной. Две комнаты, кухня размером с шкаф, окно на крыши, где в июне, наверное, сидели голуби. Пахло старым деревом и пылью. Паркет скрипел так же, как в студии.

— Беру, — сказала Агата.

— У нас нет денег на залог.

— Тогда найдём.

Они нашли. Маргарета взяла лишние смены, Агата продала две картины тому самому вельветовому пиджаку, которого так обидела. Он заплатил, не задумавшись.

— Я же говорила, — сказала Агата, засовывая конверт в банку из-под кофе. — Ему нужна мебель.

Первую неделю они спали на матрасах на полу, а ужинали на подоконнике. Готовила Маргарета. Первое блюдо, макароны с томатным соусом, она подожгла. Не фигурально, а буквально: масло вспыхнуло, огонь добрался до полотенца, оттуда до занавески. Агата с воплем бросилась тушить всё подряд, включая собственный эскиз на столе. Эскиз пострадал. Занавеска сгорела дотла.

Они сидели на полу в дыму и хохотали так, что соседка снизу постучала шваброй в потолок.

— Мы поселились в аду, — выдохнула Агата, вытирая глаза запачканным углём пальцем. На щеке осталась чёрная полоса.

— Зато теперь у нас есть вид на крыши без занавесок.

— Это называется минимализм.

В этой квартире всё и закрепилось. Утром Маргарета убегала на класс, оставляя за собой запах кофе и растянутые гетры на спинке стула. Агата вставала позже, всегда в шерстяных носках, и садилась к мольберту прямо в халате. Вечером они пересекались. Агата показывала новую вещь, Маргарета показывала новые синяки. Они ужинали на подоконнике, делили одну вилку, потому что вторая куда-то пропала, и разговаривали до трёх ночи.

Иногда они молчали. Агата читала, Маргарета растягивала связки на полу, и в комнате было тихо так, как бывает только между людьми, которым не нужно ничего доказывать.

В такие минуты Маргарета ловила себя на том, что смотрит. Не на картину, не в книгу. На профиль, на прядь за ухом, на пальцы с пятнами синего. Это длилось дольше, чем нужно, и она отводила глаза.

Просто подруга, говорила она себе. Просто потому что одна. Просто потому что новая.

Отговорки были хорошими. Она сама почти верила.

Платье

В конце октября Агата рассказала про отца.

Они сидели на подоконнике, в одеялах. Внизу на улице светился фонарь, а на крышах лежал первый холодный дождь. Агата держала кружку двумя руками, как держат что-то живое.

— Он исчез шесть лет назад, — сказала она. — Ровно в октябре. Утром ушёл на работу и не вернулся.

— А кем он был?

— Преподавал историю в лицее. Тетради, педсоветы, отчёты. Ничего героического. Но он мог рассказывать про Наполеона так, что весь класс забывал про перемену, и приходил домой с лицом, будто спасал мир.

Она замолчала.

— Полиция искала. Недели. Потом месяцы. Собаки, водолазы, объявления в газетах. Ничего. Ни тела, ни записки, ни звонка. Он просто растворился.

— Мне очень жаль.

— Не надо жалеть. Я не умею, когда жалеют. Начинаю злиться.

Маргарета усмехнулась в одеяло. Агата тоже, кривовато.

— У него была слабость, — продолжила она, помолчав. — Платья. Он выбирал мне платья. Мама умерла рано, я её почти не помню, и он считал, что должен делать это за двоих. Приходил в магазин, брал пять платьев, мерил на воздух и говорил продавщице: «Нет, у неё глаза светлее».

— У тебя действительно светлые.

— Мне семнадцать было. Летом он принёс чёрное. Простое, шёлковое, до колена. Сказал: «На выпускной. Я обещаю не пропустить». Я закатила глаза и сказала, что чёрное на выпускной это траур. А он ответил: «Чёрное не выходит из моды. Выходят из моды люди».

Она улыбнулась, и улыбка вышла такой короткой, что Маргарета еле успела её увидеть.

— Он пропал в октябре. Выпускной был в июне. Я надела платье, и в зале рядом со мной стоял пустой стул. Я просидела на нём всё торжество.

— Ты его носила?

— Один раз. Потом убрала в шкаф. Я не могу его выбросить. И не могу надеть.

Она повернулась к окну.

— Каждую осень я жду письма. Из полиции, из больницы, откуда угодно. Что нашли. Что он жив. Что умер, но я знаю где. Мне почти всё равно что. Лишь бы определённость.

Маргарета положила руку поверх её кисти.

Агата не отстранилась.

— Я хочу тебе кое-что показать, — сказала она вдруг и спрыгнула с подоконника. Вернулась с большой папкой, раскрыла.

Это был рисунок. Чёрная тушь, быстрая линия, мужской силуэт в пальто. Плечи, шея, подбородок. Лица не было.

— Я пытаюсь его нарисовать. Каждый год. И каждый год стираю.

— Почему?

— Боюсь ошибиться. Если я нарисую неправильно, то, может быть, в какой-то день я увижу его на улице и не узнаю.

Маргарета долго смотрела на пустой овал под шляпой.

— Ты узнаешь, — сказала она. — Лицо вспоминается не глазами.

— А чем?

— Не знаю. Телом.

Агата посмотрела на неё внимательно, не мигая.

— Ты странная, Марго.

— Да.

— Мне нравится.

Маргарета ничего не ответила. Она только поймала себя на том, что на слове «нравится» её сердце сделало прыжок, которого нельзя было объяснить усталостью.

Мастерская

Мастерской Агаты была каморка два метра на три, перегороженная от гостиной тонкой дверью. Мольберт почти упирался в одну стену, стол в другую. На полу лежали кисти, тюбики, газеты, куски картона, засохшие палитры. На стенах висели картины, одни законченные, другие в виде трёх мазков и линии, которую Агата не решилась продолжить.

Там она сидела часами. Маргарета знала: сюда без стука нельзя.

В середине ноября пришло письмо.

Маргарета увидела конверт в прихожей, на тумбочке, рядом с ключами. Белый, плотный, с гербом. Агата, должно быть, вскрыла его утром, потому что на тумбочке остались клочья бумаги, а сам конверт лежал развёрнутый. Маргарета не прочла ни слова. Она увидела печати, и внутри у неё что-то холодное шевельнулось.

Из мастерской не доносилось ни звука.

Она постояла минуту. Потом постучала.

Ответа не было. Дверь оказалась приоткрыта.

— Агата?

Маргарета заглянула внутрь.

Агата стояла у мольберта в чёрном платье. В том самом. Шёлк до колена, узкие бретели, подол, подбитый атласом. Волосы собраны карандашом. В правой руке она держала большие портновские ножницы.

Щёлк.

Лоскут скользнул по подолу и упал на пол.

Агата нагнулась, подняла его, провела по обратной стороне кистью с клеем и прижала к холсту.

Щёлк. Ещё один.

Маргарета не сразу заговорила.

На холсте был мужчина. Тот же силуэт, что в папке. Плечи, линия волос, тень скулы, пустое пятно там, где должно быть лицо. Вокруг фигуры росла чёрная масса, лоскут к лоскуту, как пламя. Платье уменьшалось. Подол стал короче на ладонь, потом на две. Ножницы шли по ткани уверенно, не колеблясь.

— Агата.

Щёлк.

— Что ты делаешь?

— Работаю.

Голос был спокойный. Слишком спокойный.

— Я вижу. Но зачем…

— Мне нужна ткань.

— Возьми другую.

— Мне нужна эта.

— Это же платье, которое тебе подарил отец.

— Было.

Щёлк.

Маргарета заметила, что руки Агаты не дрожат. Они двигались ровно, почти механически, как руки хирурга.

— Что случилось?

— Ничего.

— Агата…

— Марго, пожалуйста.

Первое слово с настоящим раздражением. Маргарета замолчала и посмотрела на стол.

Конверт. Нет, не тот: письмо. Агата перенесла его сюда. Белый лист с гербом лежал придавленный банкой с кистями.

— Из полиции? — спросила Маргарета тихо.

Ножницы замерли. Ровно на секунду.

— Они прекращают поиски.

— Что?

— Национальная полиция Франции больше его не ищет. Прошло шесть лет, новых данных нет, и дело закрывается. «Исчезновение при невыясненных обстоятельствах».

Она сказала это буднично, как рассказывают, что в магазине закончился хлеб.

— Агата, мне очень…

— Не надо.

— Но…

— Не надо, Марго.

Щёлк.

Лоскут. Клей. Холст.

Маргарета шагнула ближе. Рука потянулась к ножницам почти сама.

— Отдай.

— Зачем?

— Ты уничтожаешь его подарок.

— Он мёртв.

— Ты этого не знаешь.

— Знаю.

— Нет. Его тело не нашли.

— И что?

— Значит, остаётся надежда, что он жив.

Агата очень медленно повернула голову.

— Надежда?

— Да.

— Ты сейчас дала мне надежду?

— Я просто говорю, что пока нет доказательств…

— Замолчи.

— Агата…

— Замолчи!

Маргарета отступила на шаг. Агата развернулась, и в её лице больше не было той спокойной отстранённости. Что-то вспыхнуло, как спичка в сухой траве.

— Ты ничего не знаешь!

— Я знаю, что тебе больно.

— Ты не знаешь!

— Агата, успокойся.

— Не говори мне «успокойся»!

От движения одна из бретелей, уже подрезанная, соскользнула с плеча. Шёлк поехал вниз и открыл левую грудь. Агата даже не заметила. Она стояла в расползающемся платье с ножницами в руке, и на её лице не было стыда. Там было только одно: она хотела, чтобы её перестали утешать.

Маргарета протянула руку к ножницам.

— Положи.

— Не трогай!

— Я хочу помочь.

— Тогда уйди!

— Я никуда не уйду.

Это была ошибка.

— Почему ты вечно лезешь ко мне в мастерскую? — выкрикнула Агата. — Это единственное место, где я могу побыть одна!

— Я постучала.

— И вошла!

— Дверь была открыта!

— Это не даёт тебе права!

Агата вырвала ножницы и резко взмахнула. Маргарета не успела понять, что произошло. По предплечью прошёл холодный, острый след. Через секунду он стал горячим.

Она вскрикнула и отшатнулась.

Кровь выступила сразу, тонкой красной линией. Маргарета прижала ладонь к ране, но капли уже сорвались между пальцами и упали вниз. На чёрный лоскут, лежавший на полу.

Красное на чёрном. Пятно расплылось и впитывалось в ткань медленно, как чернила в промокашку.

Агата смотрела на него. Потом на руку. Потом на ножницы в собственных пальцах.

Ярость ещё держалась в её лице. Она снова подняла руку.

Маргарета не отступила. Она даже не закрылась.

Рука Агаты застыла в воздухе в нескольких сантиметрах. Пальцы мелко задрожали. Она увидела кровь, увидела бледное лицо Маргареты, увидела себя со стороны. И пальцы разжались.

Ножницы упали на дощатый пол с коротким металлическим звоном.

В комнате стало очень тихо. Слышно было только, как где-то внизу работает чья-то стиральная машина.

— Прости, — сказала Маргарета.

Агата моргнула.

— Что?

— Прости. Мне не надо было входить. Ты просила побыть одной. Я вошла.

Она стояла, зажимая руку, и в голосе у неё не было ни обиды, ни упрёка. Агата смотрела на неё, как на человека, который заговорил на неизвестном языке. Она готовилась к крику, к слезам, к ответному удару, к чему угодно, только не к «прости».

— Мне нужно промыть руку, — сказала Маргарета и вышла.

Дверь закрылась.

Агата осталась одна.

Она стояла посреди каморки и рассматривала ножницы на полу. Потом чёрный лоскут. Потом три капли крови. Потом холст с безликим человеком в чёрном огне.

Потом дрожащей рукой подтянула сползшую бретельку.

В ванной шумела вода. Маргарета держала предплечье под краном, и розовая струя уходила в сток. Рана оказалась неглубокой, но резкая боль пульсировала в руке в такт сердцу. Она посмотрела в зеркало. Лицо было бледным, глаза широкими.

— Чёрт, — сказала она отражению. — Чёрт.

Прошла минута. Две. Дверь ванной тихо открылась.

Агата стояла на пороге. Она накинула поверх платья чей-то кардиган, лицо было белым, как лист. В руках она держала то самое письмо.

— Марго.

— Что?

— Вот. Это не оправдание. Просто чтобы ты знала.

Она протянула бумагу. Маргарета вытерла руку полотенцем и взяла.

Официальный бланк. Печать, подпись, штамп. Сухой текст: после шести лет безрезультатного поиска мероприятия прекращены. Дело переводится в категорию исчезновений при невыясненных обстоятельствах. Родственникам рекомендуется обратиться за консультацией в соответствующие службы.

Маргарета перечитала последнюю строку и подняла глаза.

— Они не пишут, что он погиб.

— Нет.

— Тогда почему ты решила, что он мёртв?

Агата посмотрела на бумагу.

— Потому что если бы он был жив, он бы вернулся.

Она сглотнула.

— Я ждала его шесть лет. Каждый день. А сегодня мне официально разрешили перестать ждать.

— Агата…

— Только ты не понимаешь.

— Чего?

— Надежда иногда больнее смерти.

Маргарета не нашла что ответить. Она аккуратно сложила письмо по сгибам и протянула обратно.

Агата долго смотрела на её руку, на мокрое полотенце, на красные разводы.

— Я тебя порезала.

— Да.

— Я могла…

Она не договорила.

— Я знаю, — сказала Маргарета.

— Не надо этого «я знаю». Скажи мне, что я чудовище. Скажи, что я психопатка. Крикни.

— Ты не чудовище.

— Тогда почему я это сделала?

— Потому что тебе было очень больно.

— Это не оправдание. Многим больно. Они не режут людей.

Маргарета стояла, прижав полотенце к руке, и смотрела на неё. Агата казалась очень маленькой в чужом кардигане.

— Знаешь, что самое страшное? — сказала Агата тихо. — Я понимала, что делаю. Всё время. И всё равно. Это как смотреть в окно на человека, который падает, и знать, что это ты.

Она провела ладонью по лицу.

— Я боюсь, что я такая же, как та часть меня, что режет.

— Нет, — сказала Маргарета.

— Откуда ты знаешь?

— Та часть остановилась.

Агата вздрогнула.

— Ты замахнулась второй раз, — сказала Маргарета. — И остановилась. Я видела. Это была ты.

Агата закрыла глаза. По щеке скатилась одна слеза, потом ещё одна. Она не вытирала их.

Через полчаса они снова сидели в мастерской. Рана была перевязана бинтом, который Маргарета нашла в аптечке. На полу лежало чёрное платье, изрезанное на десятки лоскутов. На одном из самых больших темнели три коричневатых пятна.

Холст был почти закончен. Фигура мужчины стояла в чёрном огне, и лица у неё по-прежнему не было.

— Почему ты не дорисовала его? — спросила Маргарета.

— Потому что боюсь.

— Чего?

— Что нарисую лицо, которое не его. И буду его помнить уже неправильно.

Она подняла последний, самый большой лоскут, тот, с пятнами крови, и повертела в пальцах.

— Я оставлю этот. Не буду клеить.

— Почему?

— Не знаю. Он какой-то… настоящий.

Она замолчала.

— Я всё это время злилась на него, Марго. За то, что исчез. А теперь злиться больше не на кого.

Маргарета села рядом на пол и осторожно положила здоровую руку ей на плечо.

Агата не отстранилась.

Они сидели так, пока за окном не стемнело. Потом Агата тихо спросила:

— Может быть, я всё-таки надеюсь?

Маргарета не ответила. Только сжала плечо чуть крепче.

Агата взяла кисть, посмотрела на безликий портрет и впервые за весь вечер не стала ничего резать.

А на полу рядом с её босыми ногами лежал кусок чёрного шёлка, впитавший три капли чужой крови.

Мастерская без вывески

Через неделю шрам на предплечье Маргареты стал тонкой розовой линией. Через месяц побелел. Она не прятала его. Агата иногда смотрела на него, когда они ужинали на подоконнике, и тогда её ложка замирала на полпути ко рту.

В декабре они впервые пошли гулять не по делу, а просто так. Снег не лёг, моросило. Они шли по улице мимо закрытых лавок, и в двух кварталах от дома Агата вдруг остановилась.

— Смотри.

Маленькая мастерская, зажатая между пекарней и прачечной. Без вывески, без неона. В окне на тёмном бархате лежало одно кольцо.

— Ювелир, — сказала Агата. — Я иногда сюда заглядываю. Он странный. Молчит и смотрит так, как будто видит, сколько тебе осталось.

— Звучит жутко.

— Жутко красиво. Когда-нибудь куплю у него что-нибудь. Когда будет за что.

Маргарета пожала плечами. Они пошли дальше, смеясь над чем-то другим.

Никто из них не обернулся.

Ни одна из них ещё не знала, что отец Агаты жив. Только находится он не там, где его могла искать французская полиция.

И однажды Маргарета увидит его. В Париже. В 1917 году.

Глава 4. Звезда, которая смеётся

2013

Впервые это случилось в марте, на третьем часу репетиции.

Маргарета прыгнула, и мир на долю секунды вывернулся наизнанку. Зеркала, пол, потолок студии исчезли. Вместо них вспыхнули цифры, ровные, светящиеся, чужие. Лицо в тёмной раме. Синий отсвет, который ничего не освещал.

Она приземлилась на левую ногу, не удержала равновесие и села на пол.

— Зелле! — крикнул хореограф. — Ты спишь?

— Простите. Голова закружилась.

В раздевалке она долго держала лоб под ледяной водой. Руки дрожали, но не от усталости. Усталость она знала. Это было другое: будто в доме, в котором она жила, открылась дверь, которой раньше не было.

Дома она ничего не сказала. Агата сидела на полу среди банок с краской, босая, с синим пятном на щеке, и на огромном холсте рождалось что-то тёмное, спиральное.

— Что это?

— Не знаю. Мне это приснилось. Ритмы, которых нет. Я называю их потусторонними.

Маргарета посмотрела на холст. В центре, на чёрном, горела тонкая синяя линия. Ровная, как строка на экране.

Она промолчала.

Следующие три года прошли быстро, как хорошая музыка. У Маргареты появились первые афиши, потом первые рецензии, одна даже с эпитетом «пугающе точная». Агата выставилась трижды. Её красный и чёрный стали узнаваемыми. Кто-то назвал её «художницей, которая не просит прощения». Агата вырезала это из газеты и приклеила на холодильник.

По ночам на подоконнике, в двух одеялах, они говорили обо всём, кроме одного. Маргарета больше не говорила себе «просто подруга». Она вообще ничего себе не говорила. Это было как нота, которую держишь слишком долго: не поёшь и не отпускаешь.

А в мае 2016-го позвонили в дверь.

Май 2016

— Агата? Привет! Это я!

На пороге стояла девушка с рюкзаком размером с лошадь и улыбкой на всё лицо. Рыжеватая, веснушчатая, в жёлтом плаще, который не подходил ни к погоде, ни к городу, ни к здравому смыслу. Ей было двадцать четыре, а улыбалась она, как десятилетняя.

— София, — выдохнула Агата. — Ты откуда?

— Из Орлеана! Поездом! Я приехала покорять Париж, ты разве не получила смс?

— Я не читаю смс.

— Знаю. Поэтому я решила рискнуть и приехать лично. — София шагнула через порог, подхватила Агату, закружила и тут же уронила рюкзак на ногу Маргарете. — Ой. Ты та самая Маргарета? Танцовщица? Я о тебе всё знаю! Агата рассказывала, что ты умеешь поднимать ногу выше головы и ничего не умеешь готовить.

— Агата мне обещала, что про готовку никому.

— Агата ничего не умеет скрывать, она же художница.

— Это не так!

— Это так!

И они обе рассмеялись, а Маргарета поймала себя на том, что тоже смеётся. Комната вдруг стала светлее, будто открыли ставни.

София ворвалась в их жизнь, как ураган с запахом мандаринов. Она переставила чашки в шкафу («Вы хранили их неправильно, они же обидятся»), повесила в окне гирлянду («Вдруг кому-нибудь захочется праздника») и в первый же вечер выпила всё вино. За ужином рассказывала про орлеанского булочника, который влюбился в неё в шестом классе и до сих пор присылает открытки на каждое Рождество. Про бывшего, который называл её «моя горничная души». Про то, как однажды перепутала адрес и два часа объясняла чужой бабушке, что она не внучка.

Маргарета смеялась так, что болел живот. Агата, которая смеялась редко, хохотала в голос.

— Она невыносима, — сказала Агата ночью, когда София уснула на диване. — Я обожаю её.

— Она сколько пробудет?

— Неделю. Максимум.

— Мало.

Агата посмотрела на неё внимательно, и Маргарета отвела глаза.

На третий день София вдруг исчезла на пять часов. Вернулась тихая, с красными веками, объяснила, что «ходила в музей и растрогалась». Агата поверила. Маргарета промолчала.

На четвёртый день она случайно подняла с пола выпавший из рюкзака конверт.

Что лежало в рюкзаке

Это был не просто конверт. Плотная папка с логотипом больницы. Маргарета не собиралась открывать. Но в этот момент из душа вышла София, мокрая, в полотенце, и увидела папку в её руках.

Минуту они обе молчали.

— Это не то, что ты думаешь, — сказала София.

— А что я думаю?

— Что я умираю.

Маргарета поставила папку на стол.

— Я не думала. Я хотела положить обратно.

— Конечно. — София улыбнулась, но улыбка вышла перекошенной, как картина на гвозде. — Ты очень тактичная. Агата бы уже читала вслух.

Она села на край кровати. Капли воды стекали с волос на плечи, на свежий след от биопсии, который Маргарета только сейчас заметила.

— Три недели назад я нашла у себя в груди шарик. Размером с горошину. Я подумала, ерунда. Потом он стал размером с вишню.

— София…

— Они сделали биопсию. Сказали: рак. Левая грудь, агрессивный, быстро растёт. В Орлеане хирург посмотрел на меня как на мёртвую и сказал, что лечить надо срочно и серьёзно, а сам он таких случаев в двадцать четыре года не видел.

Она говорила быстро, гладко, как рассказывают чужую историю.

— Ты никому не сказала.

— Никому.

— Отцу?

На слове «отец» лицо Софии изменилось. Всего на мгновение. Как рябь на воде, когда бросили камень.

— Отцу нельзя, — сказала она. — У него и так достаточно. Он уже терял. Жену, потом брата. Он не должен терять ещё и меня. Я решила: приеду в Париж, найду хорошую клинику, всё сделаю сама, а потом скажу, когда будет уже всё хорошо.

— А если не будет?

— Тогда не скажу.

— София.

— Я знаю. Это глупо. Но он потерял жену, потерял Люсьена, и я не хочу…

Она осеклась.

— Твою маму и младшего брата, — тихо сказала Маргарета. Агата как-то рассказывала.

— Да. — Голос у Софии стал очень ровным. — Давно. Мне было двенадцать. Не будем.

В дверях стояла Агата. Маргарета не слышала, как она вошла. Лицо у неё было белое, а в руках она сжимала хлебный нож, которым собиралась резать багет.

— Давно ты слушаешь? — спросила София.

— Достаточно.

Агата положила нож и подошла. Маргарета ждала крика. Но Агата просто опустилась перед кроватью на колени, взяла Софию за обе руки и сказала:

— Ты останешься здесь.

— Агата…

— Не неделю. Всё лечение. Мы найдём лучшую клинику. Я продам что-нибудь. Марго достанет денег.

— Достану, — подтвердила Маргарета, не успев подумать.

— Вы с ума сошли. Это годы. Это дорого. Это тяжело.

— Это не обсуждается, — сказала Агата тем самым ровным голосом, каким когда-то говорила про искусство и боль. — Ты моя сестра. Хватит делать вид, что ты одна.

София смотрела на них обеих, и по её лицу вдруг потекли слёзы, тихо, без всхлипа, как дождь по стеклу.

— Я не хотела, чтобы вы видели меня такой.

— Какой?

— Некрасивой.

— Дура, — сказала Агата и обняла её.

Маргарета села рядом и положила руку на тёплое, влажное, дрожащее плечо. Три человека в маленькой комнате на последнем этаже старого дома. За окном на крышах просыпался вечерний Париж.

— Мы справимся, — сказала Маргарета. — Мы втроём.

Она сказала это уверенно. Внутри у неё всё сжималось от страха.

Химия

Лечение началось в июне.

Клиника пахла хлоркой и страхом. В коридоре висели детские рисунки, под ними плакали взрослые. Врач, сухая женщина с короткой стрижкой и усталыми глазами, говорила без смягчений:

— Опухоль агрессивная. Сначала химиотерапия, шесть месяцев. Потом операция. Затем лучевая терапия. Прогноз есть, но я не буду обещать.

— А можно обещать хотя бы что-нибудь? — спросила София и улыбнулась.

Врач посмотрела на неё поверх очков.

— Могу обещать, что буду драться.

— Этого достаточно.

Первый сеанс длился четыре часа. Капельница с красным раствором, который называли «красным дьяволом». Врач честно предупредила: волосы уйдут, обычно на третьей неделе. София сидела в кресле с книжкой на коленях и рассказывала Агате анекдот про двух хирургов. На третьем часу её вырвало. На четвёртом она заснула.

Маргарета сидела рядом и держала её за руку. Рука была холодная и влажная, пальцы чуть заметно подёргивались во сне.

Дома началось то, о чём не писали в брошюрах.

Тошнота по утрам, по вечерам и среди ночи. Металлический вкус во рту, от которого портилась любая еда. Язвочки на губах. Усталость такая, что дойти до ванной было экспедицией. Три дня после каждого цикла София лежала на диване серым пятном под одеялом и едва шевелила губами.

Маргарета бросила пару выступлений. Агата не закончила картину к выставке. Они дежурили по очереди: одна на кухне, другая у дивана, третья спала урывками на матрасе. Читали вслух. Пели детские песни, потому что только их София могла слушать без тошноты. Однажды Маргарета в четыре утра, запинаясь, спела ей колыбельную бабушки Анны, ту самую, про мельницу. София улыбнулась из-под одеяла.

— Красиво, — прошептала она. — Это что?

— Голландская. Бабушкина.

— Спой ещё.

Маргарета пела до рассвета.

Парики

Через неделю после первого цикла Агата пришла домой с огромным пакетом и вывалила его на диван.

— Что это? — спросила София из-под одеяла.

— Подготовка.

Из пакета выпал рыжий парик, потом синий, потом что-то седое и кудрявое, пахнущее нафталином.

— Агата, — сказала София. — Это парик моей прабабушки.

— Это «бабушка в стиле гламур». Я нашла его на блошином рынке. Продавец клялся, что в нём венчались.

Через пять минут София сидела посреди комнаты в седых кудрях, с лицом строгой маркизы, и вещала басом:

— Дети мои, я требую уважения к возрасту и немедленного подношения вина.

Маргарета сползла по стенке на пол. Агата схватила блокнот и за три минуты набросала шарж: София-маркиза, нос кверху, кудри как облако, а из-под парика торчит лыжная шапка.

— Назову «Мадам Орлеан принимает посетителей», — объявила она.

— Продай подороже, — сказала София. — На лечение.

Потом был синий, в котором она стала похожа на кикимору из мультфильма, потом рыжий, в котором она осталась почти собой, и все замолчали, потому что это было слишком похоже на правду.

— Беру рыжий, — тихо сказала София. — На выход. А бабушку оставлю дома. Для душевного равновесия.

Это был смех, за который потом было больно. Но в эти минуты они об этом не знали.

А на двадцатый день после начала лечения София проснулась с волосами на подушке.

Волосы

— Они уходят, — сказала она ровно.

Утро. Серый свет. Маргарета стояла в дверях с чашкой чая. София сидела на краю дивана, на коленях у неё лежал комок рыжего, тонкий, как паутина. Она держала его двумя руками, не плача, как держат птенца.

— Это просто волосы, — сказала София. — Они отрастут. Врач говорила.

— Конечно.

— Только мне надо сделать с ними что-то сейчас. Пока они не ушли сами.

Она подняла глаза.

— Позови Агату.

Они сделали это на кухне. Агата принесла электрическую машинку, которую купила накануне, сама не зная зачем. Маргарета поставила стул посреди комнаты. София села, закутанная в простыню, как в римскую тогу.

— Пафосно, — сказала она. — Но мне нравится.

— Готова?

— Нет. Но делай.

Машинка загудела. Первая прядь упала на пол. Рыжая, длинная, живая. Потом вторая. Потом третья.

Агата стригла сосредоточенно, закусив губу. Руки у неё не дрожали. Маргарета подбирала волосы с пола и ссыпала в бумажный пакет, бережно, как будто там было что-то священное.

Через десять минут София осталась без волос.

Голова у неё была маленькая, бледная, с нежным пушком по краям. Уши казались огромными. Она посмотрела в зеркало и замерла.

Минуту никто не говорил.

— Ну, — сказала София наконец. — Я похожа на птенца.

— На очень красивого птенца, — сказала Агата.

— На птенца, которому только что сказали, что кормить не будут.

— София.

— Я шучу. — Она вдруг рассмеялась, звонко, как раньше, и смех был таким неожиданным, что обе вздрогнули. — Нет, вы посмотрите! Я теперь могу не мыть голову! Экономия шампуня! У меня будет двадцать париков! Я буду Софией-Радугой!

Она смеялась и плакала одновременно, и непонятно было, где кончается одно и начинается другое.

Агата опустилась на колени и положила голову ей на колени. Маргарета обняла обеих сразу. Пакет с рыжими волосами остался на полу, и ветер из окна шевелил бумагу.

— Я не имею права умирать, — сказала София тихо, в плечо Агаты. — Слышишь? Не имею права.

— Почему?

— Потому что кто-то в нашей семье должен смеяться. За троих.

Агата подняла голову.

— За каких троих?

— Это я так. Шутка.

Она отстранилась, вытерла глаза запястьем и улыбнулась, и в этой улыбке было что-то, чего Маргарета не поняла. Только запомнила. Как запоминают номер машины, которая слишком быстро свернула за угол.

Шарик

В октябре в клинике был день рождения у кого-то из детей. В коридор выкатили тележку с воздушными шарами, красными, жёлтыми, синими. Они покачивались на нитях, невесомые, нарядные, бессмысленные.

София шла с капельницей мимо тележки. Один шарик сорвался с нити. Лёгкий, красный, он поплыл вверх, к потолку, и закачался под лампой.

София замерла.

Маргарета, шедшая рядом, сначала не поняла. Потом посмотрела на лицо подруги и испугалась. Оно стало серым, как стена. Зрачки расширились. Губы шевелились беззвучно, словно она считала.

— София?

Шарик плыл по коридору. Ребёнок засмеялся и бросился ловить.

София вздрогнула всем телом. Стойка капельницы звякнула.

— Уведи меня, — сказала она очень тихо. — Пожалуйста. Прямо сейчас.

Маргарета обняла её за плечи и увела в палату. София села на кровать и закрыла уши ладонями, хотя ничего не было слышно. Только когда за дверью стихли голоса, она отняла руки и посмотрела на Маргарету пустыми глазами.

— Прости. Я идиотка.

— Что это было?

— Ничего. — Она судорожно улыбнулась. — Боюсь воздушных шариков. Нелепая фобия. С детства.

— София…

— Правда, Марго. Это глупо. Не рассказывай Агате, ладно? Она начнёт переживать.

Маргарета кивнула. Но когда София отвернулась к окну, она заметила то, чего та не хотела показывать. Левую руку, сжатую в кулак так сильно, что побелели костяшки.

И ещё одно. Маргарета вспомнила вдруг, о чём не думала раньше. София никогда не стояла у проезжей части первой. На любом переходе она отступала на шаг и пропускала всех вперёд, и шла последней, глядя под ноги. Как будто дорога была чем-то, что нужно пересекать только в чужих тенях.

«Мишлен» клиники

В ноябре у Софии появилась новая работа.

Она назначила себя главным ресторанным критиком больницы и вела записи в блокноте, на обложке которого вывела: «Путеводитель по подземному миру. Три ложки».

— Суп, — объявила она Агате и Маргарете, разворачивая блокнот. — Оценка: две с половиной ложки из трёх. Горячий. Это уже чудо. Запах: если закрыть глаза, ты в столовой на атомной подлодке. Рекомендую слабонервным.

— А пюре?

— Пюре получило приз зрительских симпатий в номинации «Что-то серое». Консистенция: клей для обоев с претензией на масло. Вкус: воспоминание о вкусе. Ложек: одна, и ту отдала из жалости.

— А компот?

— Компот это тайна, — сказала София. — Его пьют, не задавая вопросов. Спутница моей жизни, медсестра Бернадетт, говорит, что это сухофрукты. Я думаю, что это следы чьей-то трудной судьбы.

Бернадетт, пожилая, широкая, с лицом боксёра-ветерана, действительно сидела рядом и слушала, поджав губы. На слове «трудной судьбы» у неё дёрнулся уголок рта.

— Дюваль, — сказала она, — если вы продолжите, я лично принесу вам двойную порцию пюре.

— Это угроза, мадам?

— Это забота о вашем характере.

Агата прыснула. Маргарета закрыла лицо ладонью. А София торжественно вписала в блокнот: «Персонал: пять ложек. Угрожает, но кормит».

Потом, много позже, Маргарета будет вспоминать именно эти минуты. Не слёзы и не операции. Как человек, у которого отняли волосы, здоровье и половину сил, ведёт блокнот с оценками пюре и никогда не жалуется.

Ночь, когда она хотела уйти

В ноябре случилось то, чего они боялись больше всего.

Цикл был тяжёлым. Анализы упали. София лежала три дня в больнице, потом четыре дома, тихая, прозрачная, с синими губами. Врач сказала: «Это нормально». Но «нормально» не означало «просто».

В ту ночь Маргарета проснулась от тишины.

Не от звука. От отсутствия. Диван был пуст. Плед откинут. Входная дверь приоткрыта, и из подъезда тянуло холодом.

Она выбежала босиком.

София сидела на лестничной площадке в одной футболке и шапке, прямо на ступеньках, и смотрела в окно, где шёл дождь.

— Я хотела выйти, — сказала она, не оборачиваясь. — Просто выйти на улицу. И идти. Куда-нибудь. Пока не закончатся силы.

— София.

— Чтобы не быть обузой. Чтобы вы не мучились. Чтобы больше не видеть, как Агата смотрит на меня. Знаешь, как она на меня смотрит?

— Знаю.

— Как будто я стекло. Как будто достаточно дунуть.

— Ты не стекло.

— Я хочу исчезнуть. — Она наконец повернула голову. Лицо мокрое, но не от дождя. — Как её папа. Просто раствориться. Пусть думают, что я где-то живу. Что у меня всё хорошо. Что я просто не звоню.

— Ты этого не хочешь.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что вышла босиком. — Маргарета показала на её ноги. — Если бы хотела уйти по-настоящему, обулась бы.

София посмотрела вниз. На замёрзшие ступни, розовые от холода. Потом на Маргарету. И вдруг фыркнула, коротко, нелепо.

— Мне надо у тебя учиться логике.

— Ты мне говоришь это в три часа ночи на лестнице.

— Самое время для логики.

Маргарета села рядом и накинула ей на плечи своё одеяло. София прижалась к ней, и они сидели молча, слушая, как дождь стучит по крышам.

— Мне страшно, — сказала София. — Не смерти. Мне страшно, что я это заслужила.

— Что заслужила?

— Всё.

— Ты ничего не заслужила. Это болезнь. Она не выбирает.

— Откуда ты знаешь?

— Не знаю. — Маргарета помолчала. — Но другого ответа не вынесу.

София положила голову ей на плечо.

— Не говори Агате.

— Скажу.

— Предательница.

— Да.

— Хорошо, — тихо сказала София. — Только утром.

Танец в гостиной

Декабрь выдался светлым. Анализы пошли вверх. Опухоль уменьшилась так, что хирург улыбнулась впервые.

Операцию назначили на двенадцатое. Левая грудь. Врач объяснила всё честно: «Мы сохраним что сможем, но, скорее всего, придётся удалить полностью». София выслушала, кивнула и спросила, можно ли после этого носить красивое бельё. Врач ответила, что можно носить всё что угодно.

— Тогда я согласна.

Накануне вечером в квартире стоял тихий, натянутый, как струна, воздух. Агата не могла рисовать. Маргарета не могла танцевать. София лежала на диване с книгой и в двадцатый раз перечитывала одну и ту же страницу.

— Не могу, — сказала она наконец. — Я боюсь.

— Знаю, — сказала Маргарета.

Она встала, включила тихую музыку и протянула Софии руку.

— Что ты делаешь?

— Танцуем.

— Я не могу. У меня нет сил.

— Тогда я одна.

И Маргарета начала двигаться. Медленно, потом быстрее. Не как на сцене, а как в детстве, когда танцевала на бабушкиной кухне и никто не смотрел. Руки вверх, потом вниз. Плечи, спина, волна от бедра до кончиков пальцев. Это был танец про надежду. И про силу. И про то, что человек, у которого всё забрали, может ещё делать что-то красивое просто потому, что он живой.

Агата сидела на полу с блокнотом и рисовала. Её рука летела по бумаге, ловя каждый изгиб. На секунду, когда лампа мигнула, Маргарете показалось, что тени на стене подёрнулись синим. Она моргнула, и всё прошло.

София смотрела. Потом медленно встала. Босая, в больничной пижаме, без волос, с тонкими, дрожащими руками. Подошла. Положила ладонь Маргарете на плечо.

— Научи меня.

— Просто повторяй.

Они двигались вместе. Неумело, смешно, с остановками. София смеялась. Агата вскочила, бросила блокнот и присоединилась. Три женщины танцевали в маленькой гостиной под тихую музыку, и тени их на стене сливались в одну.

Это стало их ритуалом. Накануне каждого страшного дня.

Хорошая новость

Операция прошла хорошо. Хирург вышла к ним в коридор в зелёном халате, улыбаясь, и они поняли всё по её лицу.

Следующие недели были тяжёлыми, но другими. Больными, но не безнадёжными. Лучевая терапия. Рубцы. Усталость, которая постепенно отступала. А в конце декабря врач вызвала Софию на приём и сказала то, чего они ждали полгода:

— Ремиссия.

София вышла из кабинета, прошла по коридору, села на скамейку и расплакалась так, что у соседей с кардиологии головы показались из дверей.

— Всё, — сказала она. — Всё. Я здорова.

— Ты здорова, — повторила Агата, и голос её сорвался.

— Я буду жить.

— Будешь.

Они втроём вышли на улицу. Шёл снег. Первый в этом году, редкий, пушистый, как будто небо решило сделать подарок. Люди шли мимо в шарфах, с покупками, не зная, что только что произошло чудо.

София закинула голову и ловила снежинки языком.

— Агата, — сказала она. — Купи мне что-нибудь.

— Что?

— Не знаю. Но очень красивое. Раз в жизни.

Агата посмотрела на неё и улыбнулась странной, мягкой улыбкой.

— Пошли.

Мастерская без вывески

Они шли недолго. Через два квартала Агата остановилась перед дверью без вывески, зажатой между пекарней и прачечной.

— Это здесь.

— Это ювелирная? — София вытянула шею. — Я бы приняла её за склад.

— Я знаю этого мастера. Он странный. Но делает то, чего нет нигде.

Внутри оказалось тесно и тепло. Пахло воском, нагретым металлом, чем-то древесным, как в церкви. На прилавке горела одна лампа, и в её круге лежали щипцы, пинцет, кусочек бархата. На стенах не было ни витрин, ни зеркал, только узкие полки с коробочками. В глубине, на верстаке, тихо шипела маленькая горелка, и её огонёк был не жёлтым, а синим. Маргарета посмотрела на него секундой дольше, чем нужно.

За прилавком стоял мужчина. Невысокий, жилистый, смуглый. Из-под коротких рукавов чёрного свитера виднелись широкие, плетёные из кожи браслеты с потемневшими металлическими вставками. На шее висел кулон: пёрышко и тёмный отполированный камень. Он поднял голову, и Маргарета встретилась с ним взглядом.

Глаза у него были не просто тёмные. Они были внимательные. Он смотрел как человек, привыкший читать тонкие надписи на старых вещах.

— Мадемуазель Дюваль, — сказал он негромко.

— Месье. Мне нужно кольцо. Маленькое, золотое, на средний палец левой руки.

— Для кого?

— Для неё.

Он перевёл взгляд на Софию. Задержался. Недолго.

— Выздоровела, — сказал он.

— Откуда вы знаете? — выдохнула София и тут же рассмеялась, слишком громко. — Агата, он меня пугает.

— Он всех пугает. Это часть обаяния.

Мастер не улыбнулся. Он выдвинул из-под прилавка маленький ящик, достал кусок золота, тёмного, с глубоким оттенком, которого Маргарета никогда не видела. Не жёлтого, не красного. Цвета старого мёда.

— Это золото старое, — сказал он, не поднимая глаз. — Тёплое. Всегда тёплое, если его долго носили до тебя.

— Какая разница? — спросила Агата. — Лишь бы красиво.

— Красиво будет.

Он повертел кусок в пальцах, коснулся его краем инструмента. Золото тихо зазвенело. Маргарета услышала это так отчётливо, будто звонок раздался у неё в голове. На долю секунды в мастерской стало холоднее. Потом снова тепло.

— Я хочу гравировку, — сказала Агата. — Внутри. «Спаси и сохрани».

— Красивые слова.

— Они не мои. Так на иконе в бабушкином доме. Но подходят.

Мастер кивнул.

— Две недели.

Они были уже у двери, когда он окликнул:

— Мадемуазель.

Маргарета обернулась.

Мастер смотрел на неё. Не на лицо. На уши. Долго, пристально.

— У вас красивые уши, — сказал он. — Пустые.

— Простите?

— Ничего. Задумался.

Он опустил глаза к работе.

На улице Агата хохотала:

— Видишь, он и тебя достал! Теперь знаешь, о чём я говорила.

— Странный, — согласилась Маргарета.

— Зайдём ещё как-нибудь, — сказала Агата. — Он делает красивое.

Они пошли дальше. Но в голове у Маргареты стучало одно слово: пустые.

Кольцо

Через две недели, перед Новым годом, они вернулись за кольцом.

Оно оказалось крошечным. Тонкий золотой ободок, едва ли толще нитки, тёплый на ощупь. Внутри мелкая, ровная гравировка: «Спаси и сохрани».

Агата надела его Софии на средний палец левой руки. Кольцо село идеально, будто его делали по размеру кости.

— Ой, — сказала София. — Тёплое.

— Это от меня. И от Марго. Чтобы ты больше никогда не болела.

— Я так не умею.

— Научишься.

София вытянула руку. Золото блеснуло в свете лампы.

— Я его никогда не сниму, — сказала она. — Слышите? Никогда.

— Конечно, не снимай, — улыбнулась Агата и вдруг добавила, легко, почти шутя: — Может, оно и меня когда-нибудь спасёт.

Эта фраза ушла в тишину, и никто её не удержал. Они обнялись втроём, смеясь, и никто не вспомнил ни про пустые уши, ни про золото цвета старого мёда.

Вокзал

Первого января София уезжала домой, в Орлеан.

Они проводили её на вокзал Аустерлиц. Холодный, продуваемый, с пахнущими кофе и железом коридорами. София стояла на перроне с тем же огромным рюкзаком, в том же жёлтом плаще, в вязаной шапке на отросшем пушке.

— Звонить буду каждый день, — сказала она.

— Каждый, — подтвердила Агата.

— На Рождество приеду.

— Приедешь.

— Если опоздаю, не волнуйтесь.

— Мы всегда волнуемся.

София хохотнула и вдруг обняла сначала Агату, потом Маргарету, долго, крепко.

— Спасибо, — прошептала она Маргарете в ухо. — За ту ночь на лестнице. Ты знаешь.

— Я никому.

— Я знаю.

Поезд тронулся. София стояла на подножке, махала им, и свет падал на кольцо на её левой руке. Золотая точка, летящая вдаль. Потом вагон исчез в туннеле.

Агата и Маргарета остались на перроне.

— Она справилась, — сказала Агата.

— Мы справились.

Агата повернулась к ней. В холодном свете вокзала глаза у неё казались совсем светлыми. Она хотела что-то сказать. Губы приоткрылись.

Потом сжались.

— Пойдём домой, — сказала она.

И они пошли, плечом к плечу, не касаясь, но так близко, что Маргарета чувствовала тепло.

А в Орлеане, в доме, пахнущем мокрой собакой и застоявшимся кофе, отец Софии открыл дверь и увидел дочь с рюкзаком, в вязаной шапке, живую.

Он долго стоял молча. Потом сказал:

— Ты здорова?

— Да, папа.

— Хорошо.

Он кивнул и ушёл на кухню. София осталась в прихожей, держась за дверной косяк. Она прислушалась. На кухне звякнула чашка. Больше ничего.

Она улыбнулась. Улыбка вышла идеальной. Лёгкой, лучистой, безупречной.

Потом поднесла левую руку к лицу и прижала золотое колечко к губам, как прижимают что-то живое.

Кольцо было тёплым.

Оно всегда будет тёплым.

Глава 5. Тёплое золото

7 августа 2019

В день, когда ей исполнилось тридцать, Маргарету разбудил запах гари.

Она села в кровати с бьющимся сердцем. В кухне что-то шипело, потом упало, и Агата произнесла слово, которого нет в приличных справочниках.

— Не входи! — крикнула она сквозь дверь. — Я борюсь!

— С кем?

— С тортом!

Маргарета вышла в футболке и босиком. Кухня была в дыму. На столе стоял корявый коржик, лопнувший посередине, с девятью свечами: на тридцать не хватило коробки, а Агата решила, что «девять свечей плюс два года жизни в Париже это почти то же самое».

— Он горелый, — сказала Агата, не оборачиваясь. — Но символически он очень красивый.

— Символически?

— Он про то, что ты стареешь, а я продолжаю тебя любить.

Она сказала это мимоходом, как говорят «передай соль». Маргарета замерла с чашкой в руке. Агата уже искала спички, красная от жары, с мукой на щеке, в шерстяной кофте с растянутым воротом.

Любить. Просто слово. Так говорят подруги, и в этом ничего нет.

— Задувай.

— Что загадать?

— Что хочешь. Только не вслух.

Маргарета закрыла глаза. Секунду она не могла придумать ни одного желания, которое не было бы смешным. Потом задула все девять сразу.

— А теперь подарок.

Агата достала из кармана кофты маленькую коробку, обтянутую тёмным бархатом, и протянула двумя руками, как протягивают хрупкое. Руки у неё чуть дрожали.

Внутри, на белой подушечке, лежали два тонких золотых кольца размером с монету. Не жёлтые и не красные, а глубокого густого цвета, как старый мёд. Когда Маргарета подняла одно, второе потянулось следом: на каждом был крошечный замочек, и замочки сцепились сами, будто кольца знали друг друга.

— Они не расстаются, — сказала Агата. — Снимешь, и они снова станут одним целым. Мастер говорил, что так делали раньше. Не знаю, правда ли.

В горле у Маргареты стоял ком.

— Они же стоят…

— Не думай про деньги. Я продала одну картину. Давно хотела.

— Какую?

— Неважно. Помнишь мастерскую без вывески, где мы заказывали кольцо для Софии? Я вернулась туда в июне. Он посмотрел на меня и сказал: «Для той, у которой уши пустые». Три года, Марго. Я ему даже не говорила, что это для тебя.

— Может, догадался.

— Может. — Агата помолчала. — А мне почему-то кажется, что он помнил.

Маргарета взяла кольцо. Оно было тёплым. Не от кармана Агаты и не от воздуха: тепло шло изнутри металла, ровное, как от ладони.

— Они тёплые.

— Он говорил: старое золото всегда тёплое, если его долго носили до тебя.

— Агата.

— Что?

— Надень их мне.

Агата встала позади. Она осторожно убрала волосы Маргареты за ухо, и никто раньше не делал этого так бережно. Пальцы коснулись мочки. Маргарета не смогла бы сказать, что именно чувствует: только это прикосновение, медленное, осторожное, и тёплое золото, скользнувшее в давно пустой прокол.

Они посмотрели в зеркало над раковиной. Тёмно-каштановые волосы, светлые глаза, два золотых кольца, поймавших свет из окна.

На одно мгновение, на удар сердца, поверх отражения Маргареты в зеркале что-то мелькнуло. Тёмные короткие волны. Тяжёлые веки. Чужая женщина смотрела на неё из стекла, и в её ушах горело то же золото.

Маргарета моргнула. Зеркало показывало её саму.

— Тебе идёт, — сказала Агата тихо. — Как будто они всегда там были.

— Я не сниму их.

— Снимать не обязательно. Но хоть раз проверь, как они сцепляются.

Маргарета засмеялась. Агата тоже. Потом Агата стала серьёзной и сказала то, что запомнилось сильнее торта и золота:

— Носи всегда, Марго. Мне будет спокойнее.

Последние выходные сентября

София приехала в пятницу, двадцать седьмого. Из поезда вышла в том же жёлтом плаще, который за три года пережил химиотерапию, ремиссию и сотню драк с дождём.

— Девочки! Я приехала без повода! Поэтому с поводом! Ловите!

Она бросила Маргарете сумку с орлеанскими пирожными, обняла Агату, потом обеих сразу. Волосы у неё отросли, рыжие, пушистые, до плеч. Она носила их небрежно, как человек, который знает им цену.

Они ужинали на подоконнике втроём, как раньше, и София говорила за пятерых. Про булочника, который до сих пор шлёт открытки. Про начальницу, считающую, что «креатив» это когда ты пришёл вовремя и без перегара. Про собаку соседа, которая научилась открывать холодильник.

Но Маргарета ловила странное. Всё было как прежде и всё же сдвинуто на сантиметр, как мебель, которую переставили в темноте. София смеялась чуть громче нужного. Шутила чуть быстрее. А когда замолкала, на лице у неё оставалось выражение, которое бывает у людей на вокзале, пока они ждут объявления.

В субботу утром они пошли за хлебом. У булочной София остановилась на бордюре. Улица была пуста, ни одной машины на сто метров. Она всё равно стояла, и когда Агата уже шагнула на мостовую, потянула её за рукав.

— Подожди.

— Чего? Никого же нет.

— Подожди, — повторила София и посмотрела налево, потом направо, потом налево, так долго, будто ждала, что дорога сама скажет «можно».

Потом перешла последней, глядя под ноги.

Ночью Маргарета вышла на балкон. Внизу у булочной гасили свет. София была уже там, в одном свитере, босая, и смотрела на мокрую мостовую.

— Не спится?

— Мне редко спится. — София повернулась. В темноте лицо её казалось совсем тонким. — Красивые серьги.

— Агата подарила.

— Тёплые, да?

Маргарета вздрогнула.

— Откуда ты знаешь?

— У меня такое же. — София подняла левую руку. На среднем пальце блеснуло колечко. Она сняла его, повертела в пальцах, надела снова. Потом ещё раз сняла и ещё раз надела. — Оно всегда тёплое. Я думала, кровообращение.

Они помолчали.

— Как отец? — спросила Маргарета.

— Нормально.

— Правда?

— Он каждый день спрашивает, как у меня дела. Я говорю «хорошо». Он говорит «хорошо». Мы друг у друга очень хорошо. — Она усмехнулась. — Когда я заболела, я думала, что он… Я думала, он наконец…

Она осеклась.

— Он смотрит на меня за ужином, — начала она снова. — Уже пятнадцать лет. И я знаю, о чём…

Опять оборвалась. Рука потянулась к кольцу, опустилась.

— Ладно, — сказала она. — Это ерунда. Я устала. Пойдём спать.

— София.

— Всё хорошо, Марго. Правда. Береги её, ладно?

— Кого?

— Агату.

Она ушла внутрь, и Маргарета осталась на балконе с этим «береги её» и ощущением, что у разговора было дно, к которому София подошла и повернула назад.

Утром она уехала такая же звонкая. На вокзале поцеловала Маргарету в щёку, потом Агату, сказала: «Скоро приеду!» и вскочила на подножку. Кольцо мелькнуло золотой точкой.

Только дома Агата заметила, что на вешалке остался жёлтый шарф.

— Забыла.

— Вернётся за ним.

Агата повесила шарф на крючок и долго смотрела на него.

Взгляд поверх чашки

В октябре что-то случилось с Агатой.

Сначала картины стали светлее: в красное и чёрное пробились жёлтые мазки, как рассвет сквозь решётку. Потом Агата начала напевать, фальшиво, обрывки песен, которых Маргарета не знала. Потом появились духи. Агата никогда не пользовалась духами: «Запах краски честнее». Теперь по утрам в ванной пахло ирисом и чем-то древесным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.